
Александр Власкин

**НА ПЕРЕКРЕСТКАХ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ:
МУЖСКОЕ — ЖЕНСКОЕ — ДЕТСКОЕ
В ХУДОЖЕСТВЕННОМ МИРЕ ДОСТОЕВСКОГО**

Сложность человека у Достоевского — это трюизм. Однако трюизму этому не дано застыть, в нем открываются все новые горизонты значений. Такое отношение к нему задал сам писатель в раннем своем «исповедании веры»: «Человек есть тайна. Ее надо разгадать, и ежели будешь разгадывать ее всю жизнь, то не говори, что потерял время» (28, I; 63).

В настоящей статье предлагается еще один аспект прояснения сложности человека у Достоевского, который можно назвать *метафизико-биологическим*. Имеется в виду дифференциация человеческой природы в самом общем ее виде, поверх любых *личностных* параметров, по трем началам — мужскому, женскому и детскому. Все они так важны, что каждое может стать предметом особого изучения.

Например, «детскость» у Достоевского — большая, давняя, но до сих пор во многом свежая, не до конца раскрытая научная тема. Здесь можно отметить работы Г.С. Померанца, Ю.Ф. Карякина и др.¹ У автора настоящей статьи также имеется опыт разработки этой темы и научного руководства соответствующим диссертационным исследованием².

Чем подогревается интерес к этой теме? Разумеется, самими колоритными образами «маленьких героев» Достоевского, а также многозначительными замечаниями писателя. Они выражены как «от автора», так и от лица героев. Например, известное начало

рассказа «Мальчик с ручкой»: «Дети странный народ... Они снятся и мерещатся» (22; 13). А вот Иван Карамазов признает: «Дети <...> страшно отстоят от людей: совсем будто другое существо и с другою природой» (14; 217).

Подобных замечаний встретим у Достоевского немало — о «странности», о совсем «другой природе» детей. Их по полочкам не разложишь, впрямую не объяснишь, — за ними угадываются некие *неэвклидовские*, метафизические оттенки восприятия детской природы.

Вопрос неимоверно усложняется, если принять во внимание разную степень выраженности «взрослого» и «детского» начал в характерах и поведении героев, иногда в границах одного образа: то по-взрослому, то по-детски ведут себя — Раскольников и Соня, Иван и Алеша Карамазовы, многие другие.

Теме «женского начала» в науке повезло меньше — оно остается в зоне уклончивого внимания или подсознательного недоверия. Этому есть свои объяснения (которые были изложены мною в докладе на «Старорусских чтениях» 2002 г. и в статье по тому же материалу)³. Здесь следует еще раз подчеркнуть, что «женщины» у Достоевского — это тоже некая особая «порода людей». Свидетельств этому в его текстах хватает.

Вот, например, в «Подростке»: «...Человек <...> такая сложная машина, что ничего не разберешь в иных случаях, и **вдобавок к тому же, если этот человек — женщина**» (13; 340). В «Братьях Карамазовых» не раз проскальзывают замечания вроде следующего: «Приехали юристы, приехало даже несколько знатных лиц, **а также и дамы**». И далее в описании суда над Дмитрием: «...Положительно можно было сказать, что, **в противоположность дамскому, весь мужской элемент** был настроен против подсудимого» (15; 90, 91). А вот самонаблюдение из «женского лагеря», от лица г-жи Хохлаковой: «— Не верьте слезам женщины, Алексей Федорович, — я всегда против женщин в этом случае, я за мужчин» (14; 177). Здесь Достоевский, конечно, иронизирует над своей героиней. Но он тоже поневоле всегда — «за мужчин», хотя никак не «против женщин».

Примечательно, что в таком своеобразном «расслоении» персонажей на мужчин-женщин-детей Достоевский следует — вольно или невольно — библейской традиции. Это там — как в Ветхом, так и в Новом Заветах — встречаем странные выражения, вроде

следующего: «евших было около пяти тысяч человек, **кроме женщин и детей**» (Мф. 14: 21).

Теперь важно заметить, что все эти три начала — мужское, женское и детское — порознь в художественном мире Достоевского почти не воспринимаются. Любое из них свою «особость», уникальность обнаруживает лишь в соответствующей оппозиции. Таких оппозиций получается две: «взрослое-детское» и «мужское-женское», — и это как две *оси*, по которым разворачивает свои возможности человеческая природа.

Эти две оппозиции между собой, на первый взгляд, никак не связаны, остаются как будто условны по отношению друг к другу. Дети ведь тоже делятся по половому признаку; а с другой стороны, как мужчины, так и женщины — все были прежде детьми. То есть в основе обеих оппозиций лежат разные признаки — возрастной и половой.

Но если они и условны, то не произвольны. Чрезвычайно важно, что именно сочетание обеих этих оппозиций образует круг взаимозависимости и взаимной ответственности. Если бы не было «мужчин и женщин», если бы мы «не женились и не посягали», — то не было бы и «детей». Так это будет в идеальном будущем, по Достоевскому, и он при этом опирается на библейские обетования (это когда *природа человека переменится*). А с другой стороны: не было бы прежде «детей» — не было бы и взрослых, мужчин и женщин. Это может напомнить старую дилемму схоластиков о «курице и яйце».

Но дети — не только неизбежные «истоки», они представляют и наше будущее — как реальное, так и идеальное, опять-таки заповеданное, ибо сказано: «...Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное» (Мф. 18, 3).

Таким образом, в идеале три эти начала — мужское, женское и детское — должны бы, наконец, воссоединиться. Тогда, во-первых, все будут как дети — и войдут в Царствие Небесное, а во-вторых, «не будет уже ни женщин ни мужчин...». Но это именно в отдаленном идеале, который, между прочим, по замечанию Достоевского, «*противуположен его натуре*», то есть естественной, наличной природе человека. В известной записи 1864 года («Маша лежит на столе...») писатель задается вопросом: «Но если человек не человек — какова же будет его природа? Понять нельзя на земле, но закон ее может предчувствоваться» (20; 174–175).

А если и может предчувствоваться, — продолжим — то именно по тем то́кам, или силовым полям, которые возникают в означенных оппозициях. В самих же этих оппозициях (мужчина — женщина; взрослый — ребенок) — угадывается полнота самоощущения человека или, точнее сказать, полнота освоения человеком собственной природы. Что дает, какую роль при этом играет каждая оппозиция?

В отношении к ребенку как Другому — есть перспектива временная, возможность ощутить связь с прошлым и будущим. С прошлым — потому что мы были детьми, можем узнать в них себя и в то же время ощутить — насколько оторвались от них и что успели утратить. Ощущаем будущее — не в смысле идеального «будем как дети», а в реальной уверенности, что «останемся в наших детях». Кстати сказать, не отсюда ли может проистекать порой странное чувство, что наши подросшие дети — нам как чужие. При этом они, во-первых, заставляют ностальгически вспоминать их *маленькими*, а во-вторых, успокаивают тем, что *останутся после нас*, они и есть — наше будущее... Вот и Достоевский в той же записи продолжает именно об этом: «Человек, как физически рождающий сына, передает ему часть своей личности, так и нравственно оставляет память свою людям <...>, то есть входит частью своей <...> личности в будущее развитие человечества» (там же).

В другой оппозиции — только настоящее, но зато *перенасыщенное*. Подлинное ощущение и переживание Другого по биологической природе — возможно лишь в настоящем. Отсюда инстинктивные ощущения (в любви и семье): не знаю, как жил до тебя, и не хочу знать — что будет без тебя... В этой же связи дети — общее прошлое и будущее для мужчины и женщины. Лишь детей они способны воспринимать и признавать этим общим для «двоих» прошлым и будущим (которое друг без друга — немыслимо).

Остро чувствовал метафизическую глубину как соотношения полов, так и значения «детскости» В.В. Розанов: «...Никому не приходило на ум, как далеко это идет... Пункт — в откровенностях Достоевского. Не без причины его мистицизм — возвышеннее, чем у Толстого»⁴. Поводом для замечания Розанова послужили здесь размышления над «Крейцеровой сонатой» и «Братьями Карамазовыми». Его статья «Семья как религия» вызвала в свое время взволнованные, в том числе и негодующие отклики. На эту же тему он оставил ряд лаконичных заметок в «Опавших листьях». Например, следующие: «В поле — сила, пол есть сила. И евреи — соединены

с этою силою, а христиане с нею разделены. Вот отчего евреи одолевают христиан. Тут борьба в зерне, а не на поверхности, — и в такой глубине, что голова кружится»; «Рождаемость не есть ли тоже выговариваемость себя миру... Молчаливые люди и нелитературные народы и не имеют других слов к миру, как через детей. Подняв новорожденного на руки, молодая мать может сказать: “Вот мой пророческий глагол”»⁵.

К сожалению, интуиции В.В. Розанова остались в форме неразвернутых суждений. Спустя более чем полвека на эти темы много размышлял и писал Г.Д. Гачев. В частности, он предпринял масштабное исследование «Русский эрос» (1966/1994). Однако по этому же поводу Гачев самокритично заметил: «Ну что там у меня: мужское — женское, Эрос, Целое, раскол, мать-тьма... И извне, кажимость свою даю, а не изнутри предмета. А ведь действительно: одно и то же на разных материях талдычу. Заявляю о себе, что воображение у меня стамеска, инструмент, чем проникать, а на поверку оказалось оно бедновато. И буйство у меня там еще хотя и есть, но то хмель остаточный бродит, и это скорее буйство словесного выражения, чем многоцветного видения»⁶. Едва ли с такой самооценкой можно вполне согласиться. Однако следует признать: важные и очень сложные темы остаются в области «неясного и нерешенного». Если эти темы и попадают в поле зрения ученых — философов, культурологов, филологов, — то лишь «попутно» и эпизодично.

В качестве свежего примера приведу интересные суждения С.С.Аверинцева: «Мужчина должен соединиться с женщиной и принять ее женский взгляд на вещи, ее женскую душу — до глубины своей собственной мужской души; и женщина имеет столь же трудную задачу по отношению к мужчине. Честертон, восхвалявший брак как никто другой, отмечал: по мужским стандартам любая женщина — сумасшедшая, по женским стандартам любой мужчина — чудовище, мужчина и женщина психологически несовместимы — и слава Богу! Так оно и есть. <...> Что касается отношений между родителями и детьми, тут, напротив, единство плоти и крови — в начале пути; но путь — снова и снова перерезание пуповины. Тому, что вышло из родимого чрева, предстоит стать личностью. Это — испытание и для родителей, и для детей <...> Психологический барьер между поколениями до того труден, что поспорит и с пропастью, отделяющей мужской мир от женского, и

со рвом, прорытым между различными семейными традициями. Ох, этот Другой — он же, по словам Евангелия, Ближний!»⁷. Сказанное относится у С.С. Аверинцева к сложностям семейных отношений, но имеет, на наш взгляд, более широкое значение — применительно к пониманию межполовых и межвозрастных отношений в их общем виде.

Продолжим наш скромный опыт прояснения темы на материале творчества Достоевского. Почему в названии настоящей статьи обозначены некие «перекрестки человеческой природы»? — Потому что, на наш взгляд, именно во взаимной перекличке трех начал, в соотношении их — каждое раскрывает особенно наглядно свои нюансы. Именно на пересечении — мужского и женского, женского и детского, детского и мужского, — в их *встречах* друг с другом — может быть выявлена особенность каждого из этих начал.

«Перекрестки» (о которых идет речь) — это не то, что «сопряжения». Сопряжения — повсеместны и потому неразличимы. Сопряжение «детского» и «взрослого» представлены в подростках (Аркадий Долгорукий, Алеша Карамазов, Лиза Хохлакова). И оно же — сопряжение — ощущается почти в каждом взрослом герое, не утратившем чистоту, наивность и другие «детские» качества. Оно же — в любом герое-ребенке, который вольно или невольно «взрослеет». Сопряжение иного рода («мужское-женское») обусловлено как взаимоотношением героев и героинь, так и наличием в каждом из них тех «инополовых» начал, о которых, например, писали Розанов и Бердяев⁸.

«Перекрестки» же (в отличие от «сопряжений») — явление гораздо более редкое. Это именно пересечения и *встречи*, как уже сказано выше. В этой связи представляется многозначительным один сюжетный «эпюд» в «Подростке», именно на тему разобщенности трех начал: «Мне **встретился маленький мальчик** <...> он, кажется, потерял дорогу; **одна баба** остановилась было на минуту его выслушать, но **ничего не поняла**, развела руками и пошла дальше, оставив его одного в темноте. Я подошел было, но *он с чего-то вдруг меня испугался* и побежал дальше» (13; 64).

В этой *встрече*, на этом *перекрестке* — ничего не проясняется, все остались друг другу *чужими* (Аркадий, баба и мальчик), что кажется важным признаком общего состояния мира на данный сюжетный момент в романе.

Рассмотрим другие примеры, из «Братьев Карамазовых». Что может добавить предлагаемый аспект к пониманию «сложившихся» романских репутаций?

Вот Дмитрий Карамазов; с его образом связана демонстрация той роли, какую может сыграть в судьбе человека оппозиция «взрослое — детское». Дмитрия, мы помним, в кризисный момент его судьбы наставило на будущий путь впечатление от плачущего «дитя» на руках «иссохшей матери». Важно, что это впечатление не внешнее, а внутреннее; это его *сон*, и значит — некое *открытие себя*, своей натуры — через инстинкты болезненной жалости к страдающему ребенку. Это с одной стороны. Удержим внимание на той же оппозиции применительно к этому герою, — и нам открывается сторона другая. На нее указал, в частности, В.К. Кантор: «Показательно, что говоря о “дите”, Митя ни разу не вспоминает Илюшечку (судьба которого поломана не без его участия. — А.В.). Забывчивость героя нам о многом говорит»⁹. О чем же, например? Хотя бы о том, что впечатления внешние — бегущий рядом плачущий мальчик, целующий ему руки, умоляющий простить его «папу», — мало что для него значат. Тогда как впечатления внутренние, рожденные собственным воображением, способны «восстановить и укрепить»: «За “дите” и пойду» (15; 31). Мы помним, что решение это принято ненадолго, окажется нестойким — и не потому ли именно, что вызвано оно было лишь *собственным*, а значит, во многом еще эгоистичным воображением. «Дите» плакало во сне Дмитрия, но это в тот момент горько, по-детски, плакала его собственная душа.

Переходим к образу Ивана Карамазова — и замечаем знакомые уже закономерности, но с важными нюансами. Всем памятно, как он заостряет внимание на страданиях невинных детей; как он терзает сердца — брату Алеше, себе самому, читателям романа, — воображаемыми картинами этих страданий. «Подивись на меня, Алеша, я тоже ужасно люблю деточек» (14; 217), — признается он. И подивиться есть чему, потому что недолго он продемонстрирует совсем иное отношение к воображаемой *детскости* — а именно, в пересказе своей «поэмы» о Великом инквизиторе. Кажется, пока никто не отмечал, как много в этой «поэме» мотивов *детскости*. Вот для примера один фрагмент: «О, мы убедим их <...>, что они только **жалкие дети**, но что **детское счастье слаще всякого**. Они станут робки и станут смотреть на нас и прижиматься к нам в стра-

хе, **как птенцы к наседке**. <...> Они будут расслабленно трепетать гнева нашего, умы их оробеют, глаза их станут слезоточивы, **как у детей и женщин**, но столь же легко будут переходить они по нашему мановению к веселью и к смеху, <...> **счастливой детской песенке**. <...> О, мы разрешим им и грех, они слабы и бессильны, и они будут любить нас, **как дети**, за то, что мы им позволим грешить» (14, 236). А ведь недавно у Ивана звучало бунтующее «**не с детками же солидарность в грехе**»! (14; 222).

Очевидно, Ивану как автору «Великого инквизитора» принципиально важно было увидеть в людях — *детей*, и за это их *жалеть и презирать*. Казалось бы, по замыслу поэмы, это — не сам Иван, это «Инквизитор», что с него и взять... Однако Инквизитор снисходит до людей и готов стать им «нянькой», поводырем... А за Иваном мы знаем иные инстинкты, притом сказываются они уже не в воображении, а в сугубо реальной ситуации. Вот Алеша упрекает его в жестокости по отношению к Лизе Хохлаковой: «— Это ребенок, ты обижаешь ребенка!». И слышит в ответ: «— Коль она ребенок, то я ей не нянька» (15; 38).

Здесь перед нами — диссонанс взрослого и детского. Но в этом диссонансе немаловажную роль играет и другая оппозиция, заявляет о себе женское начало. В данном эпизоде Алеша передает Ивану письмо от Лизы (едва ли не любовное). Тонкий комментарий этому дал В.Д. Днепров: «Любовь Лизы к Алеше при всей своей незрелости — чувство подлинное. <...> Это любовь между мужчиной и женщиной. Но чувственное жало в нее не проникло <...>. Тут любовь связана только с душевной прелестью <...>. А мучительное телесное волнение идет мимо этой любви, мимо Алеши. <...> Глухое чувственное стремление направляется не к Алеше, а к Ивану, которого Лиза видит опасным, жестоким и сильным»¹⁰. Добавим к этому еще одно: важный нюанс состоит в том, что Лиза явно намеренно делает Алешу своим посыльным. А в этом уже — первый опыт женской жестокости.

Можно заметить, что в этом сюжетном эпизоде обе *оси* человеческой природы располагаются едва ли не параллельно; узнавание идет встречными курсами. Иван, оскорбленный одной женщиной, Катериной Ивановной, отыгрывается на другой. Не читая, он рвет письмо Лизы со словами: «Шестнадцать лет еще нет, кажется, и уж предлагается!». И поясняет далее: «Известно, как развратные женщины предлагаются» (15; 38). При этом он не только жесток

— к Лизе и, между прочим, к Алеше, — но еще и заведомо несправедлив. Оказывается, с женщинами он может быть и таким — и это нечто новое в его романном образе. Одновременно он не возражает признать поступок Лизы ребячеством, и тогда — он ей «не нянька». Эта взрослая черствость — также примечательна в образе записного противника «детских страданий».

В свою очередь, Лиза в русле этого своего поступка торопится *повзрослеть*, — это во-первых. А во-вторых, она по-женски выражает свое отношение к двум мужчинам: с Иваном, пожалуй, кокетничает и одновременно Алешу, пожалуй, поддразнивает. Обе *оси* (детское — взрослое и мужское — женское) здесь как бы переплетены и наполнены токами взаимного узнавания. И узнавание это — никак не просветляющее, скорее раздражающее.

Стоит подчеркнуть, что в подобных случаях — на этих *перекрестках* — речь может идти об узнавании героями не столько друг друга, сколько себя самих. На авторском же и читательском уровне открываются все новые варианты расколотости, рассогласованности человеческой природы. Последнее особенно выразительно сказывается у Достоевского во второй оппозиции — через взаимоотношения героев и героинь, их половую озабоченность и озадаченность, фатальное взаимонепонимание и «половой диалогизм». Об этом могут свидетельствовать следующие наблюдения.

Из трех братьев Карамазовых Ивана романная судьба тесно сводит лишь с одной женщиной, Катериной Ивановной — лишь ее он пытается *понять* и дарит своей доверительностью. Но в контактах этих самообман трудно отличить от невольного обмана.

Алеше с его юношеским целомудрием автор уготовил свои «хождения по мытарствам» весьма относительного узнавания женской натуры. Он видел и слышал порознь — Катерину Ивановну, Аграфену Александровну. В его глазах совершилась и *очная ставка* двух этих женщин (выразительно само название соответствующей главы — «Обе вместе»). Заметим, кстати, что у Достоевского в этом итоговом романе женский мир лишен «имманентности». Если присмотреться, то здесь нигде женщины-героини — в отличие от мужчин — не показаны «между собой». Даже женские ссоры и перебранки — между Верховцевой и Светловой, между матерью и дочерью Хохлаковыми и т.д. — везде даны в присутствии мужчин и через их восприятие. Более того — все это совершается как бы «из-за мужчин» и зачастую для них (Алеша наблюдает свидание

женщин-соперниц и прозревает: это спектакль, «как на театре» — 14; 174). В таком *мужецентризме* подобных *сцен женской активности* можно угадать ограниченность авторской компетентности как именно *мужской*. Достоевский как будто не в силах вообразить и представить нам — как ведут себя и о чем говорят друг с другом женщины в *своих кулуарах*, вне мужского поля зрения. (Единственное исключение у Достоевского находим в «Идиоте»).

Продолжая об Алеше, заметим, что его *мытарства* замыкаются на общении с Лизой. Здесь у Достоевского, кажется, был задуман наиболее благополучный вариант соединения мужской и женской индивидуальностей. Однако можно догадываться, что и в этом случае не предвидится никакой идиллии взаимопонимания.

Интересно поставлен в отношениях с женщинами Дмитрий. Он и в этом — «слишком даже широк». Катерина Ивановна, Грушенька — какие они разные, и как по-разному они непредсказуемы, а по большому счету — как непонятны они обе, и не только для Дмитрия, но, кажется, и для самого Достоевского. Опыт общения с героинями дает поводы и для исповедей героя, и для авторских мини-трактатов (например, на тему ревности — 14; 343–344).

Что касается Дмитрия, то для него опыт близкого общения с женщинами на этих двух соперницах ведь не замыкается. Интересен один эпизод из его судьбы (за которым угадываются многие другие) — дружба Мити со старшею сестрой Катерины Ивановны. Он рассказывает Алеше: «Никогда-то, голубчик, я прелестнее характера женского не знал, как этой девицы, Агафьей звали ее, — представь себе, Агафьей Ивановной. Да и недурна она вовсе была, в русском вкусе — высокая, дебелая, полнотелая, с глазами прекрасными, лицо, положим, грубоватое. <...> Сошелся я с ней — не таким образом, нет, тут было чисто, а так, по-дружески. **Я ведь часто с женщинами сходил совершенно безгрешно, по-дружески.** Болтаю с ней такие откровенные вещи, что ух! а она только смеется. Многие женщины откровенности любят, заметь себе, а она к тому же была девушка, что очень меня веселило» (14; 102).

Да, Дмитрий успел узнать разные женские характеры, но это его *узнавание* недалеко ушло от *распознавания*: то есть что Катерина Ивановна — совсем не то, что ее старшая сестра, а Грушенька — это совсем уже нечто особенное. Заметим, что здесь намечаются некие «типологические ряды» женских образов. И действительно, у самого Достоевского такие ряды обнаруживаются. Например,

от первого романа до последнего можно поставить в один ряд — Вареньку Доброселову, Соню Мармеладову, Хромоножку Лебядкину, и наконец, «Ниночку безногую» из семьи Снегиревых. Коля Красоткин и Алеша называют последнюю «это существо». Алеша уверяет: «— Вот вы <...> увидите, что это за существо. Вам очень полезно узнавать **вот такие существа**, чтоб уметь ценить и еще многое другое, что узнаете именно из знакомства **с этими существами** <...>. Это лучше всего вас переделает» (14; 502). То же самое можно отнести и ко всем остальным перечисленным героиням из этого ряда. Все они — особого рода «существа», и за словом этим угадывается многое. Во-первых, особого рода такт, трепетное опасение любым другим словом — не таким отвлеченным, более конкретным — *существо* это оскорбить, поставить в некие рамки. Даже в словах «женщина» или «девица» — ощущается некая кора ненужных значений. А во-вторых, угадывается в слове «существо» и признание неких потаенных, недоступных грубому разумению смыслов. Но прав Алеша: «многое другое» можно узнать и оценить именно из знакомства с этими «существами» — вопреки тому, что сами они не подлежат исчерпывающему разумению, и даже благодаря тому, что они для нас такие *другие*...

Иной ряд характеров — Дуня Раскольников, Настасья Филипповна, Катерина Ивановна, некоторые другие. В нем — своя самобытность (замешанная на прихотливости душевных движений, на трагизме надрыва). В характерах этих — свои загадки.

Заметим еще одно: типологические ряды женских характеров лишь отчасти совпадают у Достоевского с рядами характеров мужских. Например, так называемый «кроткий тип» находим в обоих вариантах, мужском и женском. «Хищный тип» доминирует среди мужчин. То же самое можно сказать и о типе «приживальщика». Наконец, «герой-идеолог» — пожалуй, исключительно мужская «типологическая» принадлежность, женская природа как будто не способна у Достоевского к порождению такого склада характера.

В «Братьях Карамазовых» одна героиня остается вне всякого ряда, поставлена как бы особняком и «поставлена» именно в художественном смысле, то есть ее образ может иметь принципиальное значение. Имеется в виду «госпожа Хохлакова». Образ чрезвычайно колоритный: эта ее суетливость, желание во всем поучаствовать, эти ее «ужимки и прыжки» и регулярные обмороки... Используя выражение Достоевского из набросков к роману «Подросток», мож-

но сказать, что Хохлакова обрисована как будто в «бенгальском огне» (16; 48). Она окрашена яркой иронией, но сама ирония здесь — далеко не легковесна.

В этой связи примечательно мнение Клайва Льюиса (английского писателя и религиозного мыслителя): «Там, где мужчин и женщин соединяет не общее дело, а привязанность и влюбленность, они должны остро ощущать нелепость другого пола. Да это и вообще полезно. Другой пол (**как и детей** и животных) не оценишь толком, не смеясь над ним. Мы, люди, трагикомичны; разделение на два пола помогает мужчинам увидеть в женщинах, женщинам — в мужчинах то, чего они не видят в себе самих: как нелепы они и как достойны жалости»¹¹.

Можно полагать, что в откровенно смешном образе Хохлаковой Достоевский впервые как будто «дал себе волю» сказать о женщинах «все, что он о них думает». В этой героине почти гротескно заострено все то, что автор в женщинах не понимает. И сама ирония здесь — форма тактичности, потому что представленное «всерьез» — вышло бы грубо и несправедливо.

Однако ироничность образа Хохлаковой — это сложная, но всего лишь форма. Содержание же образа, специфика его постановки в образной системе романа — весьма серьезны.

Вот, для примера, эпизод с Дмитрием: «Нет, нет, денег у меня нет. И знаете, Дмитрий Федорович, если б у меня даже и были, я бы вам не дала. <...> Любя вас не дала бы, чтобы спасти вас не дала бы, потому что вам нужно только одно: прииски, прииски и прииски!...» (14; 350–351). Не предвосхищается ли здесь в пародийной форме будущий пафос Мити, когда ему в тюрьме будет уже не до денег, и он будет воображать некие «рудники», где он пропоет свой «гимн». По Хохлаковой: «прииски»; по-карамазовски: «рудники», — разница невелика. Но еще важнее, что в том и другом случае подчеркиваются одни и те же характерные для Дмитрия инстинктивные приоритеты. Мы отмечали их в связи с воображаемым «дитем». Этому герою нужна «путеводная звезда» и непременно воображаемая. Хохлакова подсказывала ему «труд на приисках», и она с этим лишь поторопилась: чуть позднее он сам выберет сначала «гимн в рудниках», а затем крестьянский труд в Америке.

Можно кстати припомнить, что ранее по той же логике Дмитрий будет воображать сначала «гордую институтку» Катерину Ивановну у своих ног — и ошибется; затем вообразит свое красивое само-

убийство («Глупость была страшная, конечно, но, должно быть, от восторга» — 14; 106); а позже его покорит некий «изгиб тела» у Грушеньки... Именно слишком богатое воображение вечно играет с ним дурные шутки по сюжету романа.

«Предвидение» Хохлаковой («прииски, прииски...») могло бы показаться случайным, — если бы не ряд других подобных случаев. Именно эта дама заводит глубокомысленный разговор со старцем Зосимой о трудностях «любви к ближнему». И старец — в отличие от многих читателей — воспринимает собеседницу «на полном серьезе». А уже позднее Иван в программной своей беседе с Алешей признается в тех же самых инстинктах, что и Хохлакова. Выходит, в этом он — ее «художественный наследник».

Дело здесь, конечно, не в «наследовании», а в том, что центральные коллизии у Достоевского — как можно заметить — преломляются в «женском» и «детском» опыте. Проблемы веры и безверия, свободы и необходимости, многие другие — зачастую выражены в трех инвариантах: мужском, женском и детском. Постоянные «участники» здесь — Хохлакова, Коля Красоткин и другие персонажи.

За всем этим угадываются разные авторские задачи:

1. Представить важные проблемы в «диалоге» или «расслоении», через субъективность разного рода (мужскую, женскую и детскую).

2. Провести проверки проблем «на прочность — пошлость — пародийность — взрослость/детскость». Многие важные проблемы даны в романе как минимум в трех инвариантах (мужском, женском и детском).

3. Не только проблемы, но и герои проходят пробу на художественную и человеческую достоверность через отношение к противоположному полу, а также к детям (или детские герои — к миру взрослых).

Так, Коля Красоткин — подобие Ивана в том, как он колеблется между «уроками» Ракитина и Алеши. Примечателен также опыт Красоткина по жонглированию словами в общении с «мужиками», со столичным доктором и со сверстниками. Особенно колоритна история «с гусем». Коля на базаре подучил «глупого парня» подманить птицу под колесо телеги. «Мировой мигот кончил: за гуся отдать гуртовщику рубль, а гуся пусть парень берет себе. Да впредь, чтобы таких шуток отнюдь не позволять себе. А парень все ревет как баба: “Это не я, говорит, это он меня наустил” — да на меня и показывает. Я

отвечаю с полным хладнокровием, что я отнюдь не учил, что я только выразил основную мысль и говорил лишь в проекте» (14; 495–496). Здесь персонаж как будто художественно «дублирует» отношения Ивана Карамазова со Смердяковым. А Смердяков, в свою очередь, «подучил» Илюшу искалечить собаку...

Примечателен и другой случай (опять-таки на базаре), когда Коля «нарвался на умного»: «Эй, здравствуй, мужик! <...>

— Ну, здравствуй, коли не шутишь, — неторопливо проговорил он в ответ.

— А коль шучу? — засмеялся Коля.

— А шутишь, так и шути, Бог с тобой. Ничего, это можно. Это всегда возможно, чтоб пошутить.

— Виноват, брат, пошутил.

— Ну и Бог те прости.

— Ты-то прощаешь ли?

— Оченно прощаю. Ступай.

— Вишь ведь ты, да ты, пожалуй, мужик умный.

— Умней тебя, — неожиданно и по-прежнему важно ответил мужик.

— Вряд ли, — опешил несколько Коля.

— Верно говорю.

— А пожалуй, что и так.

— То-то, брат. <...>

— Мужики бывают разные, — заметил Коля Смурову после некоторого молчания. — Почем же я знал, что нарвусь на умника. Я всегда готов признать ум в народе» (14; 477).

Этот эпизод может напомнить нам более развернутую сцену разговора Дмитрия Карамазова с ямщиком Андреем по дороге в Мокрое. Там Митя также пытался наладить контакт с «умным мужиком» и заручиться у него санкцией «прощения» с отвлеченно понятых народных позиций (14; 371–372)¹². В этой связи интересно, что образ Коли Красоткина по разным поводам «откликается» на образы центральных героев, всех братьев Карамазовых. В чем-то Коля наследует Дмитрию, в другом — Ивану, и наконец, в итоге ищет дружбы с Алешей, надеясь у него многому научиться. Этому соответствует и особое, центральное положение Красоткина в кругу столь важных для авторской концепции персонажей — «мальчиков».

Подытоживая наши наблюдения, заметим, что в сопоставлении разных романских образов и ситуаций возникают далеко не случай-

ные реминисценции. Во всех подобных случаях узнается природа человека — но узнается в ее разных гранях, в их пересечениях. Разные начала (мужское — женское — детское) представляют у Достоевского расколотые части человеческой природы как разные ее ипостаси, и только на пересечении — проблескивает возможная ее целостность. Это как «метафизический план», который только в расколах, в разломах мира зримого, «посюстороннего», изредка у Достоевского проблескивает.

Таким образом, в расслоении и художественном сочетании составляющих человеческой природы обнаруживается у Достоевского ее неочевидная суть.

Примечания

¹ См., напр.: **Карякин Ю.Ф.** Достоевский и канун XXI века. — М.: Сов. писатель, 1989. — С.625–629; **Померанц Г.С.** Открытость бездне: Встречи с Достоевским. — М.: Сов. писатель, 1990. — С.235–254; **Пушкарева В.С.** Детство в романе Достоевского «Подросток» и в первой повести Л.Н.Толстого // Ученые записки Ленинградского пединститута им. А. И. Герцена. — Л.: Изд. ЛГПИ, 1970. — С.113–122; **Семенова Е.И.** Тема детей в литературно-философской концепции Ф.М. Достоевского // Ученые записки Псковского государственного педагогического института. — Псков: Изд. ПГПИ, 1964. — Вып. 25. — С. 168–179.

² См.: **Власкин А.П.** Дети как «аргумент» в художественном мире Ф.М. Достоевского // Современная наука и совершенствование учебно-воспитательного процесса в вузе. Материалы XXXIV научной конференции МГПИ. — Магнитогорск: МГПИ, 1996. — С.118–119. А также: **Кулакова Е.Е.** Детское начало в творческих исканиях Ф.М. Достоевского. — Магнитогорск: МаГУ, 2002. — Автореф. дисс. ... канд. филологич. наук.

³ **Власкин А.П.** Мужское и Женское: перспективы непонимания в художественной среде Достоевского // Проблемы истории, филологии, культуры. Вып. 13. — Москва–Магнитогорск: Изд. МаГУ, 2003. — С. 78–89.

⁴ **Розанов В.В.** Семья как религия // В мире неясного и нерешенного. — М.: Республика, 1995. — С. 75.

⁵ **Розанов В.В.** Опавшие листья (Короб первый) // О себе и жизни своей. — М.: Моск. рабочий, 1990. — С. 227, 252.

⁶ **Гачев Г.Д.** Семейная комедия. Лета в Щитове (исповести). — М., 1994. — С. 293.

⁷ **Аверинцев С.С.** София — Логос. Словарь. — Киев: Дух і Літера, 2001. — С. 354.

⁸ См.: **Розанов В.В.** Семья как религия. — С. 67–81; **Бердяев Н.А.** О «вечно бабьем» в русской душе // Бердяев Н.А. Философия творчества,

культуры и искусства. В 2-х т. — М.: Искусство, 1994. — Т. 2. — С. 290–300.

⁹ **Кантор В.К.** «Братья Карамазовы» Ф. Достоевского. — М.: Худож. лит., 1983. — С. 151.

¹⁰ **Днепров В.Д.** Идеи, страсти, поступки. Из художественного опыта Достоевского. — Л.: Сов. писатель, 1978. — С. 47–48.

¹¹ **Льюис К.С.** Человек отменяется // **Льюис К.С.** Любовь. Страдание. Надежда: Притчи. Трактаты. — М.: Республика, 1992. — С. 237.

¹² Развернутый анализ сцены см.: **Власкин А.П.** Анализ ситуативного поведения героев в романе Достоевского «Братья Карамазовы» // Филологические науки. — 1988. — № 3. — С. 20–25.